

УДК 81'1:801.7

DOI: 10.26456/vtfilol/2024.3.029

## ГЕРМЕНЕВТИКА СМЕРТИ И ВОПРОС О СПЕЦИФИКЕ ТАНАТОЛОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ДУХОВНОГО РЕАЛИЗМА

**В. В. Волков, Н. В. Волкова, И. В. Гладилина**

Тверской государственной университет, г. Тверь

В статье на основе технологий филологической герменевтики предпринимается попытка интерпретации содержания лексемы и понятия «смерть», рассматриваются семантические ядра секулярного и сакрально-религиозного вариантов мотива смерти в русской поэзии духовного реализма. Авторы утверждают, что для поэтического мотива смерти характерна деактуализация темпоральных и прономинальных оппозиций в ситуации смерти, констатируют значимость знакомства читателей с танатологическими мотивами лирики для целей внутреннего самосовершенствования.

*Ключевые слова:* филологическая танатология, герменевтика, лирический герой, исповедальная лирика, темпоральность, персональность.

### Введение

Тема смерти – устойчивая, сквозная в русской исповедальной лирике, начиная с «хрестоматийных» текстов: например, с державинских «Глагол времен! металла звон!», «Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный...» и пушкинского «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» или лермонтовского «Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб в груди дремали жизни силы, / Чтоб дыша вздымалась тихо грудь...». Особое звучание танатологических мотивов – в поэзии, соотносящейся с понятием «духовный реализм». Специфика духовного реализма как художественного метода, сознательно или неосознанно облекающего феномены (христианской) веры в художественную форму, – в отражении «двойного бытия» души, в органичном соединении секулярного и сакрального (подробно в нашей работе: [5]). В дольнем просматривается горнее, в земном – небесное, в мыслях о смерти – единство бренного и вечного, смертного «здесь» и бессмертия «там», в *пакибытии*, которое в соответствии с церковной традицией, понимается как «новое бытие, возрождение, обновленная жизнь» [18, с. 218].

В виде более или менее пространных «рассыпанных циклов» тема смерти как предчувствуемого преображения личности / души / судьбы просматривается практически у любого заметного поэта. В типичном случае – при внимательном рассмотрении на основе использования тех-

© Волков В. В., Волкова Н. В., Гладилина И. В., 2024

нологий филологической герменевтики (см. об этом, например: [6; 7]) – эстетические интуиции смерти, характерные для русских поэтов, обнаруживают разительное сходство с христианским учением и существенно отличаются как от обиходных, так и от философских представлений (см. о них, например, работу французского философа В. Янкелевича (1903–1985) [20]). Думается, это не случайно. «Существует единство в царстве духа», – справедливо подчеркивал Н. А. Бердяев [4, с. 201], и поэтому в рамках данной работы вопрос о специфике танатологических мотивов в русской поэзии характеризуется, во-первых, предельно общо, без последовательной акцентировки творческого своеобразия того или иного автора, во-вторых, сам выбор авторов относительно случаен, нацелен скорее на разные, чем на сходные творческие индивидуальности.

### К герменевтике лексемы и понятия «смерть»

*Танатология*, как явствует уже из самой внутренней этимологической формы этого термина (из др.-гр. *thanatos* ‘смерть’ + ...*логия*), – это междисциплинарное (медицина и биология, социология и психология, философия и филология, другие естественные и гуманитарные науки) учение о смерти как прекращении (текущего) существования. Имеется в виду прежде всего смерть биологических существ (хотя актуальны и вопросы, например, о *смерти Вселенной*), а среди них – смерть человека. Далее, имеется в виду не столько сам по себе акт (практически мгновенный) прекращения функционирования (биологического) тела, сколько разнообразные обстоятельства «рядом и вокруг» этого события – в пространстве и времени, во внешних и внутренних обстоятельствах, которые, собственно, и составляют предмет основного интереса *филологической танатологии* как дисциплины, занимающейся лингвистическим, литературоведческим, лингвокультурологическим изучением художественных произведений и иных текстов о смерти и всём, что с ней связано.

Через корневой морф *мер-* / *мир-* внутренняя морфемно-словообразовательная форма лексемы *смерть* однозначно отсылает к однокоренным \**мереть* > *умереть* / *умирать*; *умирание*, *смертный*, *смертельный* и др. Однако, при очевидной формальной ясности, семантические связи внутри этого этимологического морфемного гнезда туманны. Прежде всего, сущ. *смерть* – через опорное семантически простое слово *мертвый* ‘лишенный / не имеющий в себе жизни’ – в оппозиции *живому* ‘обладающий, имеющий в себе жизнь’ – воспринимается одновременно в двух метонимически связанных смыслах:

1) в процессуальной семантике *смерть* – имя действия по глаголам *умереть* / *умирать* ‘становиться / стать *мертвым*’ (становление / приобретение свойства *мертвого*), *умертвить* / *умерщвлять* ‘делать / сделать *мертвым*’ (каузирование = наделение свойством *мертвого*) > отсюда *смерть* – ‘процесс умирания / умерщвления’;

2) в «предметной» семантике *смерть* – именование (некоего условного) субъекта: (а) состояния умирания, (б) каузирования умирания > отсюда *смерть* – ‘некая (субъектная?) сила, каузирующая («учиняющая») умирание / умерщвление’.

Древнегреческий аналог русской лексемы *смерть* – сущ. *танатос* / *Танатос*, одновременно нарицательное и собственное: ‘смерть’ / ‘олицетворение смерти’; в «Мифологическом словаре» читаем: «В трагедии Еврипида “Алкестида” излагается миф о том, как Геракл отбил от Танатоса Алкестиду. Хитрому Сисифу удалось заковать Танатоса и продержать в плену несколько лет, в течение которых люди перестали умирать» [14, с. 516]. Отсюда вопрос о «личности» / личностном характере смерти / Смерти, что наиболее значимо для поэтических мотивов обращения к / общения со смертью (Смертью – с заглавной буквы?), которые можно рассматривать как дальнейшую проекцию общеупотребительных персонифицирующих словосочетаний типа *пришла* / *приходит* / *ждёт... смерть* (Смерть?) – в параллель многочисленным аллегориям смерти в визуальных искусствах, от графики до кинематографа.

Загадочна морфосемантическая структура лексемы *смерть*. С очевидностью налицо приставка *с-*. Какое значение / смыслы несет эта приставка?

По М. Фасмеру, слав. \**съ-мьртъ* «следует связывать с др.-инд. *su* “хороший, благой”, первонач. “благая смерть”, т. е. “своя, естественная”, далее связано со \**svo-* (см. *свой*)» [16, с. 686]. Учитывая, что приставка *с-* / *со-* регулярно несет значения соединения / совместности (*собеседник*, *созвучие*, *склеить*, *сплести* / *сплетение* и т. п.), получается, что можно реконструировать ключевой смысл существительного *смерть* как «своё собственное = “благое”, органичное, естественное завершение жизни». Внутренняя форма сущ. *смерть* как бы «подсказывает»: «Не бойся, всё хорошо и правильно, если твоя жизнь идёт к своему завершению естественным путём».

### **Секулярные варианты мотива смерти: от безысходности до продолжения жизни в делах новых поколений**

Внерелигиозное, секулярное понимание смерти считает ее простым «отсутствием жизни», отождествляет с небытием, с исчезновением всего, что составляет жизнь: любовь и надежда, страх и память – всё «просто исчезает», сама смерть табуируется. «Смерть, – пишет культуролог А. В. Демичев, – в архаических обществах выступала растратчицей памяти, оператором забвения, разрушительницей истории. <...> Табу мертвецов одновременно было и табу истории, табу времени» [10, с. 35–36]. Преодоление этой безысходности – по мере развития культуры и цивилизации – в идее и в непосредственном ощущении-переживании преем-

ственности поколений, в наличии различных наследников / последователей, которые, продолжая твое дело, сохраняют благодарную память о тебе / твоих делах, достижениях. Конкретные вариации этой общей темы определяются прежде всего субъектом преемственности.

Двадцатилетняя А. А. Ахматова пишет поэтическое «Завещание», в отличие от пушкинского «Памятника», – не людям / народу / читателям, а Музе: «Моей наследницею полноправной будь, / Живи в моем доме, пой песнь, что я сложила. / Как медленно еще скудеет сила, / Как хочет воздуха замученная грудь. // Моих друзей любовь, врагов моих вражду, / И розы желтые в моем густом саду, / И нежность жгучую любовника – все это / Я отдаю тебе, предвестница рассвета» [1, с. 324]. Побуждает задуматься заключительное – в сильной рематической позиции – словосочетание *предвестница рассвета*. *Рассвет* ассоциируется с *началом* (нового дня / обновленной жизни). Творческое усилие продолжается?

Показательны стихи поэтов-фронтовиков (фронты Великой Отечественной). Афористично – Николай Майоров (1919–1942), стрелок пулеметной роты, погибший в ходе наступления под Смоленском, от имени всех не доживших до Победы: «Мы все уставы знаем наизусть. / Что гибель нам? Мы даже смерти выше. / В могилах мы построились в отряд / И ждем приказа нового. И пусть / Не думают, что мертвые не слышат, / Когда о них потомки говорят» [12, с. 193]. Мотив преемственности очевиден, но вместе с ним явен и мотив живого актуального участия ушедших – в делах потомков.

Стихотворение Майорова с показательным названием «Мы» («Есть в голосе моём звучание металла. / Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым»), ещё предвоенное (1940). По жанру – исповедальная поэтическая эпитафия, центральные темы – созидательный труд, устремленность в будущее, к новому Человеку и новому человечеству – здесь, в земной жизни: «И, как бы ни давили память годы, / нас не забудут потому вовек, / что, всей планете делая погоду, / мы в плоть одели слово “Человек”!» [Там же, с. 176]. Финальная лексема *Человек* – с заглавной буквы, в контексте, который можно рассматривать как афористическую иллюстрацию ключевой коммунистической цели превратить (восходящую к Новому Завету) *идею* нового человека и нового человечества – в земную *реальность*, «в плоть одеть».

### **Сакрально-религиозные варианты мотива смерти: обновленное бытие, вечность, бессмертие**

М. И. Цветаева уже в самом начале своего творческого пути в «Настанет день, – печальный, говорят!» (1916) [17, с. 61] раскрывает предощущение смерти как безысходной личной катастрофы, которая преодолевается предчувствием преображения и воскресения – личной Пасхи.

Два антиномичных мотива в этом стихотворении, органически соединенные. Первый хрестоматийно знаком всем любителям поэзии: «Настанет день, – печальный, говорят! – / Отцарствуют, отплачут, отгорят, – / Остужены чужими пятаками, – / Мои глаза, подвижные, как пламя». Морфосемантический повтор приставки *от-* (*отцарствуют, отплачут, отгорят*) выражает финитивное значение в смысле «окончательного конца», полностью исключая возможность возобновления действий, названных мотивирующими глаголами. Но действительно ли «печален» этот день для самого субъекта «отгоревшей» жизни, если о том, что день смерти «печален», мы знаем лишь по словам кого-то / каких-то посторонних («Настанет день, – печальный, *говорят!*»)?

Заключительные строки этой строфы: «И – двойника нащупавший двойник – Сквозь легкое лицо проступит – лик». Смертное человека (*лицо*) и его бессмертное (*лик*) – во взаимоотражениях, *двойники*. Истинное «я» проступает лишь в смерти, которая – Воскресение: «Меня окутал с головы до пят / Благообразия прекрасный плат. / Ничто меня уже не вгонит в краску, / Святая у меня сегодня Пасха». Личная *Пасха* – это личное воскресение, вослед Воскресению Господню. И лирический герой Цветаевой – субъект смерти – предчувствует личную *Пасху* как наступающую уже в день смерти, свидетельство которой – проступающий в *лице* – *лик*.

Сакрально-религиозная интуиция смысла смерти радикально отличается от секулярной, мирской, в существе своем сводится к следующему. Смерть – не небытие, но переход (души / духа) в вечность = в бытие-в-вечности = в (актуальное) бессмертие, как *бес-*смертие. Ядро этой интуиции – отсутствие / отрицание смерти как небытия, напротив – утверждение (вечного) бытия.

Ощущение актуального бессмертия иногда доступно и поэтически подтверждается еще при (земной) жизни. Арсений Тарковский, фронтовик, выживший в Великой Отечественной после тяжелого ранения, гангрены и ампутации: «На свете смерти нет. / Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо / Бояться смерти ни в семнадцать лет, / Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, / Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете» [15, с. 190]. Думается, это в условиях особого «двойного зрения» / «двойного бытия» души – одновременно «здесь и там», – в семантическом ассонансе и одновременно в некоторой оппозиции со святоотеческим учением о смерти, в фундаменте которого – отрешенность (от *мира*) и спасение / избавление из земного плена, ср. соответствующий фрагмент святителя Игнатия (Брянчанинова, 1807–1867): «Отрешенные от мира ум и сердце стремятся в вечность. <...> Смерть представляется для них вместе и подвигом страшным, и вожделенным избавлением из земного плена» [11, с. 496–497]. Тарковский утверждает живое ощущения актуального бессмертия уже здесь-и-сейчас. Наверняка это опыт войны...

### Смерть и время: только «настоящее»

Способно ли «я» осознать *событие* своей смерти, может ли ощутить / воспринять – не приближение, а присутствие / актуальное наличие своей собственной смерти? Жизненный опыт / интуиция и дальнейшие осмысления / рационализации этого опыта свидетельствуют: нет, в непосредственном ощущении – не способно.

Способно ли «я» осознать *время* своей смерти? В живом, непосредственном ощущении-переживании – нет, не способно. Если понимать смерть как переход из временного в вечное = в ситуацию отсутствия времени как такового (что человеку невозможно представить), то получается «вечное настоящее» – не в смысле оппозиции прошлому или будущему, а в смысле «одновременности» существования всего и вся.

Эта временная интуиция – применительно к индивидуальной смерти – отчетливо была сформулирована Эпикуром (IV–III вв. до н.э.): «Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют» [13, с. 209–210].

В категорической дальнейшей разработке интуиция бессмертия как пребывания в вечности – у А. А. Тарковского в уже цитированном выше цикле со знаменательным названием «Жизнь, жизнь»: «На свете смерти нет. / Бессмертны все. Бессмертно всё».

Как понимать: «На свете смерти нет»? Думается, только в христианском смысле смерти как перерождения, перехода – в Вечность, сохраняющую всё. И одновременно – о жизни здесь-и-сейчас – как в Вечности. Вечность начинается не «потом», мы уже сейчас в ней. Очень точно сформулировано это представление у православного богослова прот. Александра Шмемана (1921–1983) в посмертно изданных его лекциях «Литургия смерти»: «...в этой жизни *ничего никогда не пропадает*. То, что я знаю, что я теперь говорю, – все это имеет смысл сейчас потому, что обладает вечным смыслом. <...> ...цель каждого слова, каждого момента времени, каждой печали в этом мире – вечна...» [19, с. 172].

Вспомним в этом контексте и знаменитое у М. А. Булгакова: «Рукописи не горят». Это о том же самом. А. А. Тарковский [15, с. 190]:

Живите в доме – и не рухнет дом.  
Я вызову любое из столетий,  
Войду в него и дом построю в нем.  
Вот почему со мною ваши дети  
И жены ваши за одним столом, –  
А стол один и прадеду и внуку:  
Грядущее свершается сейчас,

И если я приподымаю руку,  
Все пять лучей останутся у вас.

В грамматическом отношении здесь сто́ит обратить внимание на соположение в одном ряду глаголов совершенного и несовершенного вида, настоящего и будущего времени: *живите – не рухнет / вызову / войду; свершается / приподымаю – останутся*. В порядке эксперимента синхронизируем: *свершается / приподымаю – остаются*. Смысл тот же. Всё в одном: в Вечности.

Вывод. Когда в размышлении о неизбежном финале существования или в предощущении появляется смерть, время исчезает, привычная оппозиция «*прошлое – настоящее – будущее*» не работает, *настоящее* – уже синоним *вечности*, и *грядущее свершается сейчас...*

### **Смерть как присутствие и как событие: вопрос о прономинальных оппозициях**

Смерть – всегда некое «третье лицо»: грамматически, как существительное женского рода, – «она»; семантически, безотносительно к грамматическому роду, – безличное «оно», лишённое собственной личностной очевидности. Смерть недоступна для непосредственного восприятия, не проявляется как живое присутствие: выражение *при смерти* не значит, что смерть «здесь», но говорит, что она «где-то рядом, вблизи». Смерти для непосредственного восприятия нет, поскольку смерть – это *не-бытие* (= отсутствие бытия), а «отрицательные» явления могут мыслиться лишь постольку, поскольку существует отрицаемое. Небытие мыслится лишь постольку, поскольку есть бытие, и смерть «существует» лишь постольку, поскольку есть жизнь, то есть смерть «существует» как *событие* прекращения, «отрицания» жизни.

Поясним сказанное.

Есть ли у смерти «лицо»? Кто она – смерть / Смерть? Грамматика подсказывает: в проекции на прономинальные словоупотребления это вопрос о том, каким личным местоимением (можно / нужно) именовать смерть (Смерть – с заглавной буквы?) / обращаться к ней / говорить о ней. Варианты сводятся к набору личных местоимений. Учитывая возможные персонификации, их число удваивается – от строчных букв к прописным: *смерть – она / Она, оно / Оно, Ты / Вы* (только с заглавных букв).

Личностное обращение к Смерти как к непосредственному собеседнику (*Ты / Вы*) проблематично. По заключению философской танатологии, собственная смерть ненаблюдаема, – доступна наблюдению лишь смерть Другого, причем и смерть этого Другого тоже ненаблюдаема сама по себе, как «личность» (ср.: «...мне нелегко заменить ясную, но неубедительную очевидность безличной смертности на абсурдную, но пережитую очевидность, характеризующую собственную смерть» [20, с. 25]).

Иными словами, мы видим не саму по себе смерть / Смерть, но умирающего / умершего Другого в состояниях «до» и «после» (смерти), между которыми – что? Это вопрос, на который философская танатология отвечает: «что» – это событие перехода, безличное «оно»: **Что случилось?** – **Это случилось.** У смерти как события всегда статус «третьего лица», «она / оно» – никогда не «ты».

Герменевтические добавления. Если понимать смерть как «прекращение жизни», как (переход в) *не-бытие*, – что из этого следует в персоналогической проекции?

1. У *небытия* нет *лица* (как семантической, лингвокогнитивной категории), поскольку оно само по себе – отсутствие, чистая «нулевая сущность» без содержания, которую, впрочем, не надо путать с симулякром как «пустым знаком»: симулякр – «просто» отсутствие (содержания у него нет), а *небытие* – это *наличие отсутствия* (бытия), то есть содержание есть, и оно – в констатации отсутствия (бытия).

2. Если опираться на представления о смерти как *присутствию* и *событию*, противопоставляя их по параметру предметность / предикативность (*присутствие* – кто / что, *событие* – что случилось / происходит), то: а) *присутствие* смерти налицо, но «как таковое», без возможности назвать, кто / что именно присутствует (безличное присутствие некой силы – пресуппозитивного каузатора события, как в безличных предложениях); б) *событие* смерти налицо, как наблюдаемый переход из жизни в *небытие* = в отсутствие в здесь-существовании.

Выводы: а) налицо событие (смерть как процесс и результат); б) налицо «отсутствие присутствия» смерти как (активного) «деятеля».

### **Вопрос о «пациенсах»: исповедальное «я» и Другой**

*Пациенс*, из лат. *patiens, patientis*, – буквально «претерпевающий», в контексте нашей темы – *претерпевающий событие перехода* от (земной) жизни в *небытие* / в *Инобытие*.

Если это событие наблюдается, то наблюдаемое *событие* смерти – всегда с Другим, что хорошо показал в своих танатологических размышлениях М.М. Бахтин, развивавший мысль, что «я» способно осознать событие своей смерти лишь через «другого», что в восприятии именно этого «другого» жизнь «я» получает свое (эстетическое) завершение: «Помыслить мир после моей смерти я могу, конечно, но пережить ее эмоционально окрашенным фактом моей смерти, моего *небытия* уже я не могу изнутри себя самого, я должен для этого вжиться в другого или в других, для которых моя смерть, мое отсутствие будет событием их жизни; совершая попытку эмоционально (ценностно) воспринять событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым душой возможного другого, я уже не один, пытаюсь созерцать целое своей жизни в зеркале истории...

<...> Память о законченной жизни другого <...> владеет золотым ключом эстетического завершения личности» [3, с. 179, 181].

Отсюда: непосредственное общение с ней (смертью / Смертью) возможно не в живой коммуникации, коррелятивной обыденному сознанию, но лишь в «общении» умозрительном, эстетически-экзальтированном, связанном с художественным сознанием (эстетически переживаемая коммуникация).

В этих условиях персонификация смерти > Смерти вполне возможна, и поэтических визуализаций смерти / разговоров лирического героя / героев со смертью в русской поэзии множество – но, как правило, они носят характер поэтической условности, де-факто это автокоммуникация либо обращение к отсутствующему, лишь умозрительному собеседнику, как, например, у Е.А. Баратынского в стихотворении «Смерть» («О дочь верховного эфира! / О светозарная краса! / В руке твоей олива мира, / А не губящая коса» [2, с. 134]).

Непростая задача – выделить в массиве такого рода текстов собственно исповедальные произведения, где мотив контакта со смертью, а через / помимо нее – со своим Посмертием связан (а) с восприятием смерти / Смерти как некоей субъектной реальности, что наиболее явно проявляется в обращении на «ты»; (б) с восприятием посмертия как (прозреваемой) субъективной реальности (художественного) сознания.

Усматривается два базовых варианта поэтического общения со смертью / прозревания своего посмертия.

**1. Прямое «ты»-общение** именно со смертью, – состояние внутреннего контакта с некоей безличной силой, ведущей к завершению земного бытия, без персонификации этой силы в *Смерть*, с заглавной буквы. Возможные примеры: у Ахматовой в главе из поэмы «Реквием» под адресующим названием «К смерти» (заметим, сущ. *смерть* здесь – со строчной буквы, без явной персонификации): «Ты все равно придешь – зачем же не теперь? / Я жду тебя – мне очень трудно. / Я потушила свет и отворила дверь / Тебе, такой простой и чудной» [1, с. 192]; Высоцкий в размышлении о «черном человеке» как вестнике близкой смерти – с исповедальным инициальным восклицанием «Мой черный человек в костюме сером!..»: «...И я со смертью перешел на “ты”, / Она давно вокруг меня кружила, / Побаивалась только хрипоты» [9, т. 4, с. 139].

**2. Косвенное, «эвфемистическое» общение** – не собственно со смертью, а с некоторым своим интуитивно прозреваемым, эстетически осваиваемым посмертным состоянием.

У Тарковского в рамках темы «двойного бытия», внутренней встречи со своим (потенциальным) «двойником» из грядущего посмертия. «...Так мой двойник по быстрине иной / Из будущего в прошлое уходит. / Вослед себе я с высоты смотрю / И за сердце хватаюсь» [15, с. 101].

Уходит – «двойник» (мой), не я сам ухожу. Это (дистантно) встреча с *собой*, но с собой – как *Другим*, то есть встреча – с *собой-Другим*.

У Высоцкого «Памятник» (1973) – поэтическое прозрение встречи с посмертным *собой-Другим*, вознесенным в (потенциальном) будущем на пьедестал «памятника» в буквальном визуальном смысле (скульптура на постаменте). Эта баллада Высоцкого, «Памятник», в отличие от размышлений о своей посмертной судьбе у Пушкина, Державина или Маяковского в «Во весь голос», – не о творчестве / судьбе своего творчества в будущих поколениях, – но о конфликте своей подлинной, неприглаженной личности с «я-Другим», который на постаменте. Сюжет баллады – сойти этому «я-Другому» с пьедестала, вырваться из прилизанности посмертной славы к себе-истинному [9, т. 3, с. 9]:

Накренился я – гол, безобразен, –  
Но и падая, вылез из кожи,  
Дотянулся железной клюкой  
И, когда уже грохнулся наземь,  
Из разодранных рупоров все же  
Прохрипел я похоже: «Живой!»

Специально отметим / напомним: поэзия В.С. Высоцкого резко своеобразна наличием разнообразных поэтических «масок» (подробно см.: [8]), в ряду которых особое место занимает «я-маска», когда исповедальный лирический герой скрывается под *собой-Другим*. Это один из вариантов фигуры остранения – взгляд на себя-подлинного из себя-Другого. В цитированном «Памятнике» исповедальный выход за пределы себя-подлинного (эстетически) достигается перемещением за пределы текущего времени – в потенциальное будущее / виртуальное вневременное «настоящее» лирической «маски», стоящей на постаменте. Пафос баллады – в посмертной устремленности к подлинности, в обретении «я-Другим» подлинного (посмертного) лица.

Стихотворение «Песня летчика» (1968) [9, т. 2, с. 9–10]. Летчик времён Великой Отечественной – лирический персонаж-«маска» с двойной прономинацией «я/мы» (*мы с другом* – одно), пафос баллады – продолжение / развитие в посмертии – перед лицом Бога – актуального межличностного единства.

Архангел нам скажет: «В раю будет туго!»  
Но только ворота – щелк, –  
Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом  
В какой-нибудь ангельский полк!»

И я попрошу Бога, Духа и Сына, –  
Чтоб выполнил волю мою:  
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,  
Как в этом последнем бою!

Своеобразный поэтический итог «рассыпанного цикла» Высоцкого о смерти и посмертии – в одном из последних его стихотворений, 11 июня 1980 г. [Там же, т. 4, с. 176]:

Мне меньше полувека – сорок с лишним, –  
Я жив, тобой и Господом храним.  
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,  
Мне будет чем ответить перед Ним.

Вывод: в пределе развития темы смерти – предожидание Встречи со Всевышним, живое общение / обращение к Нему в надежде, что «будет чем ответить перед Ним».

### Заключение

Качественная поэзия, прежде всего исповедальная, наиболее близкая истинному авторскому «я», а не его (в той или иной мере условным) лирическим героям, дает возможность познакомиться с опытом внутреннего осмысления-переживания тех внешних и внутренних обстоятельств, которые сопутствуют смерти. Смерть может осмысляться-переживаться сугубо мирски, секулярно – как «просто» прекращение жизни, – либо в разной степени приближения к сакрально-религиозным (христианским) переживаниям смерти как перехода из (земного) времени в беспространственную и безвременную вечность.

По христианскому учению, этот переход умирающий в идеале совершает в чаянии грядущего воскресения. В отличие от этой установки, современная секулярная культура центрирует внимание на смерти как «уходе / прощании навсегда», чему, к сожалению, в значительной мере способствует и богослужебная практика. Точно писал об этом в своих дневниках прот. Александр Шмеман: «И снова поражаюсь: как <...> никто не заметил чудовищного перерождения религии воскресения в похоронное самоуслаждение... <...> Смерть раскрывает, должна раскрывать смысл не смерти, а жизни. Жизнь должна быть не приготовлением к смерти, а победой над ней, так чтобы, как во Христе, смерть стала торжеством жизни» [20, с. 14–15].

Транслируя ключевые модели восприятия смерти, поэзия духовного реализма помогает внутренне подготовиться к неизбежной встрече с событием смерти. Существо пафоса поэтического – эстетического предощущения (личной) смерти – выход за пределы своего наличного существования, своего сиютекущего «я», что на уровне текста проявляется в деактуализации ключевых оппозиций. Временные оппозиции «*прошлое – настоящее – будущее*» не работают, растворяются в «бессмертии» как отсутствию времени, оппозиция «Я – Другой» деактуализуется в соединенности наблюдателя и наблюдаемого.

### Список литературы

1. Ахматова А. А. Сочинения : в 2 т. Т. 1. Москва : Художественная литература, 1990. 526 с.
2. Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы. Москва : Художественная литература, 1982. 399 с.
3. Бахтин М. М. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1. Москва : Языки славянской культуры, 2003. 958 с.
4. Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). Москва : Книга, 1991. 446 с.
5. Волков В. В., Волкова Н. В. Духовный реализм как единство секулярного и сакрального в поэтическом творчестве иеромонаха Романа (Матюшина-Правдина) // Вестник славянских культур. 2022. № 63. С. 234–246.
6. Волков В. В., Волкова Н. В., Гладилина И. В. Теолингвистические компоненты в секулярных именовании особенностей русского менталитета и российской государственности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2021. № 1(68). С. 105–114.
7. Волков В. В., Волкова Н. В., Гладилина И. В. Термины и понятия «значение» и «смысл». К учебной герменевтике лингвистических терминов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2023. № 3(78). С. 83–93.
8. Волкова Н. В. Авторское «я» и «маски» в поэзии В. С. Высоцкого : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Н. В. Волкова ; Тверской гос. ун-т. Тверь, 2006. 19 с.
9. Высоцкий В. С. Собрание сочинений : в 5 т. Тула : Тулица, 1993–1998.
10. Демичев А. В. Философские и культурологические основания современной танатологии : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.13 / А. В. Демичев ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург, 1997. 280 с.
11. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты : в 2 т. Т. 1. Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. 816 с.
12. Имена на поверке / сост. Д. Ковалев. Москва : Молодая гвардия, 1975. 304 с.
13. Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демократии и Эпикура. Москва : Политиздат, 1955. 239 с.
14. Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. Москва : Советская энциклопедия, 1990. 672 с.
15. Тарковский А. А. Избранное. Москва : Художественная литература, 1982. 736 с.
16. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Т. 3. Москва : Прогресс, 1987. 832 с.
17. Цветаева М. И. Сочинения : в 2 т. Т. 1. Москва : Художественная литература, 1988. 719 с.
18. Церковнославянский словарь / сост. прот. А. Свирелин. Москва : Дарь, 2016. 384 с.
19. Шмеман А., протопресвитер. Литургия смерти и современная культура. Москва : Гранат, 2013. 176 с.
20. Янкелевич В. Смерть. Москва : Издательство Литературного института, 1999. 448 с.

---

**HERMENEUTICS OF DEATH AND THE QUESTION ABOUT  
THE SPECIFICS OF THANATOLOGICAL MOTIFS IN RUSSIAN  
POETRY OF SPIRITUAL REALISM**

**V. V. Volkov, N. V. Volkova, I. V. Gladilina**

Tver State University, Tver

The article attempts to interpret the content of the lexeme and the concept of “death” on the basis of philological hermeneutical technologies, examines the semantic cores of secular and sacred-religious variants of the motif of death in Russian poetry of spiritual realism. The authors argue that the poetic motif of death is characterized by the loss of opposability of temporal and pronominal oppositions in the situation of death, and state the need to introduce readers to the thanatological motifs of the lyrics for the purposes of internal self-improvement.

*Keywords: philological thanatology, hermeneutics, lyrical hero, confessional lyrics, temporality, personality.*

*Об авторах:*

ВОЛКОВ Валерий Вячеславович – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: Volkov.VV@tversu.ru.

ВОЛКОВА Наталья Васильевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологических основ издательского дела и литературного творчества Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: Volkova.NV@tversu.ru.

ГЛАДИЛИНА Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка Тверского государственного университета (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: Gladilina.IV@tversu.ru.

*About the authors:*

VOLKOV Valery Vyacheslavovich – Doctor of Philology, Professor at the Department of Russian Language, Tver State University (170100, Tver, Zhelyabov str., 33), e-mail: Volkov.VV@tversu.ru.

VOLKOVA Natalya Vasilyevna – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Philological Basics of Publishing and Literary Creation, Tver State University (170100, Tver, Zhelyabov str., 33), e-mail: Volkova.NV@tversu.ru.

GLADILINA Irina Vladimirovna – Candidate of Philology, Associate Professor, Head of the Department of Russian Language, Tver State University, (170100, Tver, Zhelyabova str., 33), e-mail: Gladilina.IV@tversu.ru.

---

Дата поступления рукописи в редакцию: 12.08.2024 г.

Дата подписания в печать: 06.09.2024 г.